

Валерий ЗОЛОТУХИН

ДЕНЬ ШЕСТОГО НИКОГДА

ЛГ-говец. - 1995. - №2. - с. 25, 29.



Из дневника
В "Добром человеке из Сезуана"
Брехта
есть зонг о Дне святого Никогда —
дне,
когда исполняется то, что не может
исполниться никогда.
"День Шестого
Никогда" — 6 марта 1969 года — день
сдачи "Живого"
министру культуры
СССР, вернее, его разгрома, у меня
в дневнике обозначен так:
"И был последний день Помпеи
Для русской кисти первым днем!!!"

Н ОЧЬ спал плохо. Встал рано. В голове вертелась фраза: "И был последний день Помпеи/ Для русской кисти первым днем". Жена проводила меня, сообразила на дорогу завтрак, кофе. Помолился и пошел... в церковь... Внизу службы не было — замок. Я пошел наверх. Там отпевали старушку. Помню, кто-то спросил: "Как звать?" "Анной". Меня попросили помочь перенести гроб. И сверкну у меня шальная мысль: "А не Федора ли Фомича моего отпевают сегодня?! Не его ли я провожаю в последний путь, не его ли в гробу перенес?" И закачался маятник в душе у меня — от заулокной до "русской кисти первым днем". Купил свечку, поставил перед распятием, попросил Бога за Кузькина, за Любимова, за семью, за театр. Сейчас уж думаю: может, много попросил, надо было поскромнее быть.

По случаю приезда Фурцевой театр был объявлен "на режиме". Я не знал, что это такое. Оказалось, играть будем как бы под арестом, пропускать будут строго по списку, утвержденному Управлением культуры, из артистов в театре могут находиться только участвующие в этом спектакле (мою беременную жену не пустили; Демидова смотрела "Живого", согнувшись в три погибели, из осветительской будки, и даже

оттуда ее пытались выгнать наши перепуганные служители буквы), в зале от театра только три человека: главный режиссер, директор и автор. Секретарь партбюро (он же режиссер спектакля) Борис Глаголин в список не вошел!

Предупредили: мы всегда смотрим ваши спектакли по несколько раз, делаем замечания, поправки и т.д. "Живого" будем смотреть только о д и н раз, и вопрос тут же будет решен — ДА или НЕТ. Никаких промежуточных решений не будет. Поэтому уберите из спектакля сами все то, что может вызвать раздражение.

В театр я пришел рано, за час до появления всех артистов. Березки с домками уже стояли, реквизит разложен по местам, рабочие подготовили сцену к прогону спектакля. Она была пуста. Одинокая фигура маячила меж берез. Это был Любимов. Он держал в руках мой реквизит — ковыль-траву — и бросал ее в то место, где она должна была точно втыкаться и замирать в безмолвном освещении. При этом Любимов крестился на поднятую на березку золотистую колокольню. Он был один, он был коммунист, он молил Бога, чтоб министр пропустил в жизнь "Живого".

Про то, как Любимов стоял на сцене, — это я забыть не могу. Пустой зал, никого, пустота. Он на моем рабочем месте, бросает что-то, смотрит туда и шепчет что-то и туда (наверх) крестится... Я понимаю, когда... он человек артистичный... когда прилюдно. Но когда... одиночество... Мне даже страшно стало. Я так потихонечку зашел на сцену, мы поздоровались. "Юрий Петрович, — так его вежливо попросил, — уйдите с моего рабочего места. И отдайте мне, пожалуйста, мой реквизит. Это игрушки мои, сегодня я ими буду забавляться. А у вас — своих забот сегодня хватит". И он ушел.

Потом он всех собрал в зале, как

перед боем, такое всех охватило волнение и озноб.

— Не ждите никакой реакции. Предупреждаю, будете играть, как при пустом зале. Это и ничего — проверим себя. Играйте для себя. Обычная репетиция. Играйте в свое удовольствие, заражайтесь от партнеров. Как будто "четвертая стена", она как раз сегодня и будет.

— Ну неужели они не живые люди? Ну хоть что-то где-то должно их прошибить?

— Не надейтесь и не обольщайтесь, поверьте моему опыту. Глядите иногда на меня, я буду показывать рукой, где поднять ритм, где осадить. По моему виду вы поймете, как идет. Ну, с Богом!

И грянул бой.

У меня пошло. Я быстро успокоился и потащил весь обоз за собой. Временами глядел в зал. Закшивер отвернулся от сцены, что-то строчит. Ищу глазами незаметно Фурцеву — не нахожу. Друзья сидят рядом, друг от друга прикуривают, сигаретки не гаснут. Иногда шеф реагирует, но остается в дураках: никто не поддерживает. Зал как будто вымер. Сорок человек живых сидят в зале, а мы играем будто для кресел.

Кончился первый акт, ребяташки сказали: "Антракт", но не успел я уйти со сцены, слышу женский голос.

Фурцева. Автор! Это вам нравится?

— Да, и даже очень.

Фурцева. Секретаря партийной организации позовите.

И началось — "это безобразие", "это неслыханная наглость", "нет, это не смелость", "антисоветчина, ничем не прикрытая" и т.д.

Я сиганул наверх: быстро переодеться, проверю реквизит и бегу на начало второго акта. А в зале — истерики мадам. Я накрылся корзиной, слушаю и ушам не верю — что говорят взрослые люди, в чем нас обвиняют!.. Был такой момент в ругани, когда казалось, что не хватает маленькой капли, чтобы мадам хлопнула дверью и выскочила как ошпаренная со своею свитой из театра.

А в театре холод. Ей принесли шубу. Слышу, она проворчала:

— Ну, давайте досмотрим.

Я понял, что нам хана, но это не сбilo меня с толку, только злость молодецкая разыгралась. А в голове снова фанфары: "И был последний день Помпеи/ Для русской кисти первым днем". И такое было чувство, будто еще веселее дело пошло у нас во втором акте, а "Суд" — просто гениально. Вот так мы ответили "четвертой стене".

Переоделся. Наши уже все прильнули к репродукторам, как молодоговардейцы. Слушают продолжение ругани.

— Ну, это уже другая пьеса, но все равно конец не спасает всего спектакля. Он какой-то нарочитый.

— Это болото.

Можаев. Вы, товарищ Зашкивер (фамилию искажил), болото при себе оставьте! Болото он мне будет приписывать!..

"Молодогвардейцы" ахали от смелости Можаева, как он от них отлаивался, почти один. Действительно — один в поле может быть воином, если он богатый. У меня тряслись руки, меня все поздравляли, целовали, я было вытащил ручку с книжкой записывать (тогда ведь магнитофонной техники не существовало), да где там...

Владыкин (с истерикой в голосе). Мы давно нянчимся с товарищем Любимовым. Стараемся всячески помочь ему, по-хорошему. Смотрим, советуем, просим — ничего не помогает. Товарищ Любимов упорно гнет свою линию порочную, линию оппозиционного театра. Против чего вы боретесь, товарищ Любимов? Вы воспитали аполитичный коллектив, и этого вам никто не простит. Сегодняшний спектакль — это апофеоз всех тех вредных тенденций, которых товарищ Любимов придерживается в своем творчестве. Это вредный спектакль, в полном смысле антисоветский, антипартийный.

Окончание на 29-й стр.

Можаяев. Это ваша точка зрения?
Владыкин. Да, моя.

Можаяев. А моя точка зрения противоположна вашей. Вот и давайте, пусть нас рассудят.

Фурцева. Я ехала, честное слово, с хорошими намерениями. Мне хотелось как-то помочь, как-то уладить все... Но нет, я вижу, у нас ничего не получается. Вы абсолютно ни с чем не согласны и совершенно не воспринимаете наши слова. (Она все время обращалась к Можаяеву "дорогой мой", а к Любимову — "дорогой товарищ".) Дорогой мой! Вы еще ничего не сделали ни в литературе, ни в искусстве, чтобы так себя вести.

Любимов. Зачем вы так говорите? Одному нравится это, другому — то, зачем уж так оглулю говорить об одном из лучших наших писателей.

Можаяев. Екатерина Алексеевна, я пишу комедию. Это условие жанра, чтобы отрицательные персонажи были карикатурны, смешны. Они так написаны, они так и играют. Если бы это была драма или что-то другое, разговор был бы совершенно иной. Но я писатель, я пишу комедию про плохой колхоз. Мы должны высмеивать наши недостатки, вскрывать, искоренять их. Спектакль поддерживает тех людей, которые собрали и провели мартовский Пленум, очень многое изменивший в жизни нашего крестьянина.

Фурцева. Какая же это комедия? Это самая настоящая трагедия! После этого спектакля люди будут выходить и говорить: "Да что же это такое, да разве за такую жизнь мы кровь проливали, революцию делали, колхозы создавали?" Эти колхозы, которые вы здесь подвергаете такому осмеянию, выдержали испытание временем, выстояли в войну, в разруху. Бригадир — пьяница, председатель — пьяница, предрайисполкома — подлец...

Можаяев. Какой же он подлец?

Фурцева. А как же иначе?! Да какое он имеет право, будучи на партийной работе, так невнимательно относиться к людям?! Я сама много лет была на партийной работе и знаю, что это такое. Партийная работа требует отдачи всего сердца людям.

— Вы были хорошим работником, а это — работник другой. Ну хорошо, вас смущает председатель, а Кузькин вас не смущает?

— Нет.

— Ну так в чем же дело? Это мой главный грех, в нем вся идея, весь смысл. Побеждает Кузькин, простой крестьянин, побеждает его правда. Вот если бы победили отрицательные персонажи — это была бы трагедия. На стороне Кузькина партия, она повернула на другую основу жизнь нашего колхозного крестьянина.

Кто-то. Спектакль весь сделан так, что не партия помогает Кузькину, не ее меры, а его собственная изворотливость и случай.

Фурцева. Один хороший человек в спектакле — и все его бьют, давят. Ведь жалко его становится, ему всячески сочувствуешь...

Можаяев. Ну и правильно. В этом и мысль авторская. А кому же сочувствовать, Мотякову, что ль?

Фурцева. А как вы говорите о 30-х

Валерий ЗОЛОТУХИН

ДЕНЬ ШЕСТОГО НИКОГДА

Окончание. Начало на стр. 25

годах? 30-е годы — индустриализация, коллективизация, а вы с такой издевкой о них говорите. Нет! Спектакль этот не пойдет, это очень вредный, неправильный спектакль, и вы (Любимову), дорогой товарищ, задумайтесь, куда вы ведете свой коллектив.

Любимов. Не надо меня пугать. Меня уже не раз снимали с работы.

Родионов. Никто вас, Юрий Петрович, не снимал. Вы сами себя снимали и трезвонили об этом по Москве.

Любимов. Вы звонили, вызывали людей, уговаривали их пойти на мое место. У меня есть свидетели.

Родионов. Мало ли кто кого вызывает и зачем. А сняли вы себя сами и раззвонили по Москве.

Кто-то. Критика критике рознь. Нагибин поднимает в "Председателе" те же проблемы, но под другим углом...

Можаяев. Вы мне про Нагибина не говорите, я знаю эту историю лучше вас. И "Председателя" не выпускали, но Хрущев сказал, и все подняли руки, проголосовали единогласно, за "Председателя". И здесь могут тоже разобраться, и вы поднимете.

Фурцева. Даю вам слово, куда бы вы ни обратились, вплоть до самых высоких инстанций, вы поддержки нигде не найдете. Будет только хуже, уверяю вас.

Любимов. Смотрели уважаемые люди, академики... Капица. У них точка зрения иная. Они полностью приняли спектакль как спектакль, советский, партийный и глубоко художественный.

Фурцева. Не академики отвечают за искусство, а я. Академики пусть отвечают за свое дело, они авторитетны в своей области. Товарищи! Может быть, есть другое мнение о спектакле, может быть, кому-нибудь спектакль понравился?

Пауза.

Робкий голос из зала. Мне понравился.

— Кто это? А, Вознесенский... Ну, это понятно...

Андрею не дают слова.

Можаяев. (возмущается). Между прочим, это лучший советский поэт. Почему это товарищу Зашкиверу можно говорить, иметь свое мнение, а Вознесенскому нельзя? Что же — руки по швам и кругом?

Вознесенский. Я смотрел репетиции этого спектакля четыре раза. Я считаю, что это глубоко русский, национальный спектакль, удивительно поэтический во всех компонентах и глубоко партийный. Он пока-

зывает удивительно убедительно и оптимистично, что русский народ живет и никогда не пропадет, что бы с ним ни делали чиновники и...

Фурцева. Вот спасибо, а мы-то думали, пропадет русский народ. Спасибо вам за веру в русский народ.

Владыкин. То, что я сегодня увидел, это пошлость, политическая пошлость.

Кто-то. Откуда у Кузькина такие рассуждения о счастье?

Можаяев. Семьдесят восьмая страница "Нового мира", номер шесть за 1966 год.

Фурцева. А вы читали сегодняшнюю "Правду" о "Новом мире"? И во вчерашней "Литературке" статья! С этого началась Чехословакия! Судить вас надо за этот спектакль!

Когда все разошлись, остался Родионов и вступил в полемику с артистами, Славиноу обзвал аполитичной. Потом ушел и Родионов. Мы остались одни.

Любимов. Надо одно дело сделать все-таки: подать на них в суд, чтобы они оплатили наши расходы — автору, художнику.

Можаяев. А мы это дело пропьем. Пошли в буфет, там министру чай приготовили. Но ей и без чаю жарко стало, она не отвела нашего чаю. Пошли попробуем министровского, им по-особому заваривают.

А через несколько дней пришла бумага от нашего непосредственного начальства — Управления культуры:

"Письмом от 30 апреля 1968 года были прекращены репетиции "Живого" для дальнейшей литературной переработки материала автором инсценировки Можаяевым.

Рабочая репетиция 6 марта 1969 года показала, что такая переработка автором Можаяевым не произведена, а режиссер-постановщик спектакля "Живой" Любимов еще более усилил идейно-порочную концепцию литературного первоисточника (ряд мизансцен, частушки, оформление).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Репетиции прекратить.

2) Все расходы по постановке списать за счет убытков театра.

Начальник Управления культуры Родионов.

Приехали после прогона домой, дома отец ждет, он гостил тогда у меня две недели. Сели, выпили. Я рассказал ему, как мог, да разве может он против члена ЦК что иметь-говорить — ученый. Наконец, я взял

балалайку и спел ему: "За высокой тюремной стеною..." Отец сказал:

— Вас за одно это надо посадить, такую мрачность разводите.

Жалко, отец не дожил до моей премьеры. Сердцем-то, он, конечно, понимал, что к чему, догадывался уже, что в жизни было наломано много дров, но он очень боялся за меня, что я в Москве со своими идеями, со своим языком доиграюсь... "Посадят, посадят, посадят..." — без конца говорил. Боялся, потому что всю жизнь прожил в страхе, и сам был председателем колхоза и поступал подчас так же круто, как иные Гузенковы.

Нет, не стал этот день "русской кисти первым днем", и я вспоминаю покойную бедную бабушку Анну в вешняковском храме. Запокойная восторжествовала, и спела ее нам министр. Долгие годы преследовало меня это видение: мертвая бабка Анна в церкви. Ждал я этого "первого дня русской кисти" двадцать один год. И через двадцать один год понял, что, может быть, и рождено своей матерью я был для этого дня.

Но когда зашла речь о восстановлении спектакля, меня обуял страх. Потому что слишком сильно была легенда — легенда "лучшего спектакля Любимова". Уже появились такие замечательные спектакли, как "Гамлет", "Зори...", "Мастер и Маргарита", а за "Живым" все равно оставалась слава шедевра. Это, конечно, было страшно. Лучше сохранить легенду, чем выйти на сцену мертвым "Живым трупом". Сегодня, когда торжествует гласность, публику ничем не удивишь, она многое узнала, но крепка оказалась замечательная вера Любимова. Он сказал: "Да бросьте вы, мы же не соревнуемся с публицистикой. "Живой" есть произведение искусства, произведение театра. Это иные параметры, иные высоты, это совсем другое дело". Его вера вселяла уверенность, и в течение многих лет я почему-то, несмотря ни на что, верил, что к "Живому" я вернусь. Обязательно! Я ждал Любимова. Когда овладевают артистами уныние и безверие, то вдохнуть жизнь в спектакль может только тот, кто его делал, потому что он скажет: "Вот так — хорошо". И я ждал Любимова: только он, живой и невредимый, мог в эпоху гласности вывести нас из уныния и вдохнуть новую силу, новую веру в "Живого", в искусство театра.

И я этого дня дождался.

И тут все сходится — и "последний день Помпеи", и слова Владимира Высоцкого: "И наградою нам за безмолвие обязательно будет звук". Когда-то, после первого разгрома спектакля в 1968 году, когда с репетиции "Живого" изгонялся Жан Вилар (но эта история требует особого разговора, да она уже где-то и появилась в печати), Любимов мне сказал: "Не обижайся, Валерий, видишь, время какое, надо отступить. Но ты не засыпай, держи роль под парами, ситуация может измениться в любое время".

Не знаю уж, держал ли я роль "под парами", но ситуация изменилась... к сожалению, только через двадцать один год.

1969—1989